Андрей РАСТОРГУЕВ

«…Я УЖЕ БЕСКРАЙНЕЕ ПОЮ…»

Небесная Русь Валерия Михайлова

Михайлов В.Ф. Колыбельная из-под небес. Из лирики 2004-2005 годов. – Алматы 2005; Молчун-трава. Из лирики 2005 года. – Алматы 2005

Пока родной для меня Южный Урал снова не стал пограничьем – а, может, и по юности лет, самочувствие русского человека, живущего в казахской степи или предгорьях Тян-Шаня, не особо меня волновало. А теперь вот и сам пожил изрядно в национальной республике – слава Богу, северной и довольно спокойной, и о вынужденных переселенцах из благополучного вроде бы Казахстана наслышался (прочесть мало чего можно). Так что, хотя мы подчас и о жизни других российских земель мало чего знаем, новые книги алма-атинского (да простится мне это старорежимное вроде как написание) поэта Валерия Михайлова «Колыбельная из-под небес» и «Молчун-трава» открыл с двойным интересом.

На злобу дня – как и вообще злобу – в этих книгах, однако, нет практически ничего. «*…Ты ж подпой мне: баюшки-баю,/ Чтобы не ложился на краю –/ Я не лягу, я не протестую,/ Я уже бескрайнее пою…*», – просит своего ангела лирический герой автора. И всё же приметы конкретного времени и места в его стихах время от времени встречаются. Вот обветшалый военный санаторий на берегу Иссык-Куля, где «*…С полудиких санаторных крыш,/ Что когда-то стойко укрывали/ Воинов империи наивной/ В азиатской дальней стороне,/ Голуби снимаются поутру…*». Вот беглые московские заметки на Пушкинской площади, по которой всё ходят толпы с трехцветными знаменами: «*…Пушкин стал угрюмей/ И зеленее от глухой тоски…/ Арап арапом, даром что зелёный./ Немей немого, даром что поэт…*».

«*…Жалко Россию. Жалко Союз./ Доброго жалко, да что там – и злого…*», – признаётся герой. Но, принимая свершившееся как горький факт, всё-таки не понимает, какую из новых стран ему теперь считать родиной. По месту рождения автора в 1946 году – вроде бы Казахстан. По корням – вроде бы Россию, откуда в 1930-е годы вывезли его деда Ивана и

бабушку Марину. На железной земле Караганды нет теперь ни старого города, ушедшего под землю в опустевшие горные выработки, ни даже могил: «*Ни жестяной звезды, ни сварного креста, ни какой-то малейшей отметы…/ Где-то здесь вы лежите, только небом оплаканы, только ветром тоскливым отпеты…*». Но и на коренной его земле под Саратовом давно уже живут другие люди. Оттого и пишет поэт: «*На склоне жизни, крутеньком, однако,/ Устал я жить в родном чужом краю,/ Душа бездомна, как ничья собака,/ Но где найти мне Родину мою?…*» И заключает: «*На век ли опоздал иль на полшага –/ Осталась в прошлом Родина моя…*»

Впрочем, одна из самых ярких картин этой родины отнюдь не говорит о её уходе. И в письме бывшему земляку, что уехал за другими – германскими корнями, однако назвался в Интернете по старому русскому имени этих мест – Семиречье – semirekom, поэт вполне с натуры напоминает:

Ой, вы братцы семиреки,
Как пылают чебуреки
На Пугасовом мосту!
А на жёлтой Головнушке
Пиво льётся из пивнушки,
Пену видно за версту.

Как на Малой Алматинке
По весне смеются льдинки
Всех звончее хрусталей…

И в полнеба встали горы,
Словно сизые дозоры
Дальней стороны родной –
За песком и за туманом,
За ползучим басурманом,
За судьбиною лихой.

Нет неслышимее гула
Стойкой песни саксаула
В печке старенькой простой…

Да в Неметчину сырую

Кину память расписную,
Словно детская мечта…
Пусть Берлин не вусмерть скверный,
Всё же он не город Верный,
Даже не Алма-Ата…

Напоминание об истории и первом имени бывшей столицы бывшей Казахской ССР весьма знаменательно: город вообще предстает в этом стихотворении совершенно русским, без каких-либо иноэтнических вкраплений. Ну, разве что саксаул – так это примета местности, не слишком-то чуждая, скажем, потомкам оренбургских казаков, что ходили в степи и горы за тем самым «ползучим басурманом».

Отнюдь не увлекается поэт азиатским колоритом и в других стихах. Вот разве что – и то лишь называя – вспоминает о зимней буре, застигшей на горном перевале: «*…Была зима, и мы застряли./ И я услышал жёлтый вой/ Джунгарских гор, китайской дали,/ Утробный, древний, ножевой…/ То гул небес и рык природы/ Со скал сдирает письмена,/ Сдувает страны и народы,/ Несёт песчинки-племена…*». Или обозначает внешние признаки мира, в котором «*не к кому спешить, и не с кем расставаться*» и который потому скользит за окнами скорого поезда: «*…Солончаки, верблюды, облака, коровы, реки,/ Мазары, словно миражи иль нежилые города…*». Или, мысленно вновь погружая пальцы в шелковистую пену волос любимой, ощущает золотисто-живые ручьи, текущие сквозь них – «*...И токи, как розы, навстречу друг другу цвели…*». И даже явно азиатская по своему имени – Маркаколь – местность предстает у Михайлова вполне обрусевшей: «*…Здесь буйно всё, и грузно, и свежо/ (Уже тут сразу б выросло в ужо),/ И первобытны горы и долины,/ Где в жар бросает ясный дух малины…*».

И всё же разогретая той же малиной душа оборачивается цветущей лозой ненадолго, и герой вновь горько и безжалостно ощущает: «*Вряд ли этой земле я теперь пригожусь…/ И ни родина уж не влечёт, ни чужбина…/ Светлым голосом выси небесная Русь,/ Чую, тихо зовёт, как заблудшего сына…*».

В эту высь уже ушли все, кто сопровождал героя по его земной жизни: «*…Кого любил – меня на небе ждут,/ Усталую мою, больную душу…*». И традиционно русская, с Егорием Победоносцем колыбельная

– «*…Богатырь копит силы во сне,/ Ему утром скакать на коне…*», замыкая жизненный круг, тоже раздается из-под небес:

- Пети, пети, пети! – птица за окном.
Мир зелёный зрети под живым крылом,
Воздухом дышати, свежим, как трава,
В синеву взмывати, как весной листва.

Всё на этом свете – только для того,
Чтобы жизнь воспети в милости Его,
Всё Ему воздати… - а там станет звать:
- Спати, спати, спати! – ласковая Мать.

Однако на краю оврага, в который сошёл его родной дом, на краю собственного схода или восхождения только на собственную душу герою и остается уповать: «*Изменчиво всё в этом быстром краю,/ Надежда одна – лишь на душу мою./ Слетит ли сюда ещё, память храня?…*». Хотя завершающая строфу строка Псалтыри – «*Но место моё не узнает меня…*» – надежды вроде бы не оставляет.

На этом рубеже, где «*…Полынок одинокий дрожит…/ Ни дорог и ни люда…/ Воздух светом навеки прошит/ И туда, и оттуда…*» и где в разглядывающей нас кромешной темноте, подсвеченной старым фонариком или луной, не разобрать, к земле или ввысь летят пыльца мотыльковых крыльев и пепел человеческих сердец, остаются еще память и слово. Но «*…Что эта память? Она коротка./ Что это слово? Никто не расслышит…*». И неприкаянный герой уже пророчит себе:

…С детства помню, как полынный ветер
По степи катил траву сухую, -
Странную её судьбу на свете,
Круглую и лёгкую такую,
Я, наверно, скоро растолкую…

И вдруг взамен завершения жизни перед читателем возникает её колыбель. И скорбь уступает место новому ожиданию, предвкушению нового начала, которое, как неведомый зверь, предвещает почитаемый многими за таковую парящий океан: «*…Было это всё в стране Омане…/ И туманом океан клубился/ Так, что ни звезды над головами,/ Будто весь он в*

небо испарился…/ Но я чуял: чудище всё ближе!…/ Ну, а как качнётся, ворохнётся?/ Вот тогда-то всё-то и начнётся!…» Или свежая снежная баба в подмосковном Переделкино пробуждает в пальцах радостное детское стремление запулить в нее снежком…

…Что-то вдруг шевельнётся такое
В этом старом, как мир, камыше,
Что почуешь и впрямь: Бог с тобою,
Смерти нет, как предела душе…

И путник, уверившийся в безумной пустыне, что «*и присно и ныне/ люди здесь никому не нужны…*», до того, как самому истаять в ней, понимает: «*и присно и ныне/ ни конца и ни краю душе…*». А бездна, «*живым, как времена*», дыханием которой наполняется душа героя, оказывается чистой, и пустынная дорога в ней «*чудится, как свет*». И родиной этой души, что пролётной птицей рвётся на волю, оказываются не только море, небо и ветер, но и земля «*до самой зелёной кровинки*», на которой всё-таки остаётся «*и, быть может, не скоро умрёт*» слово родной речи, внезапно рождающееся в груди, как волна в том же океане. А потом это слово растворяется в небе и для тех, кто его все-таки не расслышал, иногда вспыхивает в нём «*как росчерк света средь земного мрака…*».

8 мая 2006 г.